



Одри Лорд

**ЗАМИ:
КАК
ПО-НОВОМУ
ПИСАТЬ
МОЕ ИМЯ**

Биомифография

No Kidding Press

Audre Lorde

ZAMI: A NEW SPELLING OF MY NAME

A Biomythography

Одри Лорд

ЗАМИ: КАК ПО-НОВОМУ ПИСАТЬ МОЕ ИМЯ

Биомифография

No Kidding Press

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Лорд О.

Зами: как по-новому писать мое имя (биомифогрфия) / Одри Лорд ; пер. К. Казбек под ред. О. Дергачевой. — М. : No Kidding Press, 2021.

ISBN 978-5-6045961-9-7

Зами — так называют женщин с острова Карриаку, работающих плечо к плечу и живущих вместе как подруги и любовницы. Карриаку — остров в юго-восточной части Карибского моря, а также остров воображения Одри Лорд. Эта книга — «биомифогрфия», ключевой для мемуарного жанра текст, повествующий о взрослении молодой черной квир-женщины в Нью-Йорке 1950-х годов. Вспоминая мать, сестер, подруг, соратниц и любовниц, Лорд открывает читателю альтернативную реальность женского становления, которое строится на преемственности семейных традиций и исторического прошлого, общности, силе, привязанности, укорененности в мире и этике заботы и ответственности.

Copyright © 1982 by Audre Lorde

© Катя Казбек, перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. No Kidding Press, 2021

Благодарности

Да буду я жить с осознанием долга перед всеми людьми, что делают жизнь возможной.

От самого сердца я благодарю каждую женщину, которая поделилась кусочками мечты/мифа/истории, оформившимися в эту книгу.

Вот кому я хочу выразить особую признательность: Барбаре Смит за смелость задать верный вопрос и веру в то, что на него найдется ответ; Черри Морага за то, что слушала своим третьим ухом и слышала; им обеим за редакторскую стойкость; Джин Миллар за то, что была рядом, когда я со второго раза задумала верную книгу; Мишель Клифф за номера *The Island-Ear*, зеленые бананы и тонкий расторопный карандаш; Дональду Хиллу, который посетил Карриаку и передал весточку; Бланш Кук, которая превратила историю из кошмара в основу для будущего; Клер Косс, которая связала меня с моим наследием по женской линии; Адриенне Рич, которая настаивала, что язык возможно подобрать, и верила, что так и будет; авторам песен, чьи мелодии сшивают мои годы; Бернис Гудман, которая первой изменила мир через отличие; Фрэнсис Клейтон, которая всё собирает воедино, — за то, что никогда не сдаётся; Мэрион Мэзон, которая дала имя вечности; Беверли Смит за то, что напоминала мне быть попроще; Линде Бельмар Лорд за первые мои принципы боя и выживания; Элизабет Лорд-Роллинз и Джонатану Лорд-Роллинз, которые помогают мне оставаться честной и держаться настоящего; Ма-Марае, Ма-Лиз, тете Энни, сестре Лу и другим женщинам Бельмар, которые вычитывали мои сны, и другим, кого я пока что не могу позволить себе назвать.

Элен, которая придумывала лучшие приключения.
Бланш, с которой я прожила многие из них.
Рукам Афрекетте.

В признании любви лежит ответ отчаянью.

Кому я обязана мощью, что стоит за моим голосом и силой, которой я стала, пенисто вскипающей, как внезапная кровь из-под коросты на рассеченной коже?

Отец оставил на мне свой духовный отпечаток, неслышный, глубокий, беспощадный. Но свет его — отдаленная вспышка на небосводе. Мой путь украшают и очерчивают образы женщин, что пылают факелами и дамбой отделяют от хаоса. И именно эти образы женщин, добрых и жестоких, ведут меня домой.

Кому я обязана символами своего выживания?

Дням от праздника тыквы до полуночи года, когда мы с сестрами вертелись дома, играли в классики на розовом линолеуме, что покрывал пол в гостиной. По субботам мы дрались из-за того, кому выполнять редкие поручения на улице дрались из-за пустых коробок овсянки Quaker Oats, дрались из-за того, кому последней идти в ванную перед сном; из-за того, кто из нас первой заболела ветрянкой. Запах многолюдных гарлемских улиц летом: после стремительного ливня или проехавшей мимо поливальной машины зловоние от тротуара поднималось к солнцу. Я бежала за угол купить молока и хлеба в лавке у Короткошейки, и на обратном пути задерживалась, чтобы сорвать несколько травинок для матери. Задерживалась, чтобы отыскать монетки, что прятались под вентиляционными решетками метро, подмигивая мне как котята. Я то и дело наклонялась завязать шнурки и медлила, пытаюсь кое-что понять. И как добраться до сокровищ, и как разгадать секрет, который иные женщины таили разбухшей угрозой в складках цветастых блуз.

Кому я обязана тем, какой женщиной стала?

Делоис жила в нашем квартале на 142-й улице и никогда не укладывала волосы, так что все окрестные женщины цыкали зубом ей вслед. Ее сухие волосы посверкивали под солнцем, пока она шествовала по кварталу дальше, гордо неся перед

собой огромный живот, а я за ней наблюдала — мне и дела не было, есть ли в ней что-то поэтичное. Хотя я наклонялась завязать шнурки и пыталась заглянуть под блузу проходящей мимо Делоис, я никогда с ней не заговаривала, подражая-матери. Но я ее любила, потому что она двигалась, как будто чувствовала себя особенной, одной из тех, кого я однажды захочу узнать. Так, думала я, двигалась мать бога, и моя мать тоже, а когда-нибудь буду двигаться и я.

Жаркий полдень набрасывал солнечное кольцо на торчащий живот Делоис, точно нимб, точно свет софита, заставляя меня печалиться, что я такая плоская и чувствую солнце лишь плечами да макушкой. Чтобы оно сияло на моем животе, приходилось ложиться на землю.

Я любила Делоис, потому что она была крупной, Черной и особенной, и всё в ней будто смеялось. По тем же причинам я боялась Делоис. Однажды я видела, как на 142-й улице она, медленно и осторожно шагая, сошла с тротуара, когда уже зажегся красный. Высокий желтоволосый мужик в белом кадиллаке, проезжая мимо, высунулся в окно и заорал: «Эй ты, чучело с гнездом на голове, сука неповоротливая, давай!» Он чуть ее не сбил. Но Делоис как ни в чем не бывало продолжала размеренно идти и даже не оглянулась.

Я обязана Луиз Бриско, что умерла в доме моей матери, снимая комнату с мебелью, но без постельного белья, зато с возможностью пользоваться кухней. Я принесла ей стакан теплого молока, которое она не стала пить и смеялась надо мной, когда я решила сменить ей простыню или вызвать врача.

— Что толку ему звонить? Ну разве что он очень хорошенький, — сказала Миз Бриско. — За мной никого не посылали, сама на свет явилась. И обратно вернусь так же. Так что мне тут если кто и нужен, так только красавчик.

Пахло в комнате так, что было ясно: врет.

— Миз Бриско, — ответила я. — Я очень о вас беспокоюсь.

Она глянула на меня краем глаза, будто бы я сделала ей предложение, от которого придется отказаться, но которое она

всё же ценит. Ее огромное, распухшее тело покоилось под серой простыней, а сама она многозначительно улыбалась.

— Ну что же ты детка, всё в порядке. Я не в обиде. Знаю, что ты не специально, просто характер у тебя такой, вот и всё.

Обязана я и белой женщине, явившейся мне во сне. Она стояла за мной в очереди в аэропорту и молча смотрела, как ее ребенок раз за разом нарочно меня толкал. И когда я обернулась сказать ей, что, если она не приструнит ребенка, придется вмазать ей по челюсти, то увидела по зубам она уже получила. И ее, и ребенка избили, лица у них были в кровоподтеках, а под глазами синяки. Я отвернулась, и ушла от них в печали и ярости.

Я обязана той бледной девушке, что среди ночи подбежала к моей машине на Статен-Айленде, босая, в одной ночной рубашке. Она плакала и кричала:

— Леди, пожалуйста, помогите мне, ох, помогите... пожалуйста, отвезите меня в больницу, леди...

В ее голосе перезрелые персики мешались с дверными звонками, ровесница моей дочери, она бегала по кривой безлюдной Вандузер-стрит.

Я тут же остановилась и потянулась, чтобы открыть дверцу. Был разгар лета.

— Да, да, конечно, постараюсь помочь, — сказала я. — Залезай.

Но когда она разглядела меня в свете уличного фонаря, ее лицо исказилось от страха.

— О нет! — взвыла она. — Не вы! — Развернулась и рванула прочь.

Что в моем Черном лице вселило в нее такой ужас? Заставило упустить возможность, угодив в расщелину между мной настоящей и своим представлением обо мне. Остаться без помощи.

Я поехала дальше.

В зеркале заднего вида я заметила, как девушку настигло воплощение ее ночного кошмара — кожаная куртка, кожаные

ботинки, мужчина, белый.

Я ехала и думала, что, похоже, ее жизнь оборвется глупо.

Я обязана первой женщине, которой добивалась и которую бросила. Она научила меня тому, что женщины, желающие без нужды, обходятся дорого и порой доводят до разорения, а женщины, нуждающиеся без желания, опасны: они поглощают тебя, притворяясь, будто сами того не замечают.

Я обязана батальону рук, в которых искала прибежища и иногда его находила. Тем, кто помогал мне, выталкивая на беспощадное солнце, откуда я выходила почерневшей, но став целой.

Женщинам, ставшим частью меня и продолжившим мой путь.

Становлению.

Афрекете.

ПРОЛОГ

Я всегда хотела быть и мужчиной, и женщиной, уместить самые сильные и богатые части моей матери и моего отца внутри / в себе — делить свое тело с долинами и горами, как земля делит себя с холмами и вершинами.

Я бы хотела войти в женщину так, как может любой мужчина, и чтобы вошли в меня — оставлять и быть оставленной, — быть горячей, и твердой, и мягкой — всё сразу в деле нашей любви. Я бы хотела двигаться вперед, а в иное время быть в покое, или быть движимой. Сидя в ванне и играя с водой, я люблю чувствовать глубину своих частей, скользящих, и складчатых, и нежных, и глубоких. В другой раз я люблю фантазировать о самой сердцевине, моей жемчужине, выпирающей части меня, твердой, и чувственной, и уязвимой — но иначе.

Я чуяла старинный треугольник «мать-отец-ребенок» с «я» в его древней утробе — как он удлиняется и расплывается в элегантную мощную триаду «бабушка-мать-дочь», где «я» ходит взад-вперед, течет в любую или одну лишь сторону, как надо.

Женщина навсегда. Мое тело, живой образ другой жизни — старше, длиннее, мудрее. Горы и долины, деревья, утесы. Песок, и цветы, и вода, и камень. Сделанное в земле.

Гренадцы и барбадосцы ходят как африканцы. А вот тринидадцы нет.

Посетив Гренаду, прогуливаясь по ее улицам, я увидела корень сил моей матери. Я думала: вот она, страна моих прапраматерей, моих долготерпеливых матерей, этих Черных островных женщин, которым их дело давало самоопределение. «Из островных женщин получаются хорошие жены; что бы ни произошло, они знавали времена и похуже». В них африканская острота мягче, и они мерно шагают по теплым от дождя тротуарам с самоуверенной нежностью, которую я помню в силе и уязвимости.

Мои мать с отцом приехали в эту страну в 1924 году, ей двадцать семь, ему двадцать шесть. Они были женаты год. Она соврала о своем возрасте в иммиграционной службе, потому что ее сестры, которые уже были тут, писали ей, что американцы хотят в работницы молодых и сильных, и Линда боялась, что для работы слишком стара. Ведь дома она считалась уже старой девой, пока наконец не вышла замуж.

Отец устроился разнорабочим в старую «Уолдорф-Асторию», где сейчас стоит Эмпайр-стейт-билдинг, а мать — туда же горничной. Отель закрылся на снос, и она пошла посудомойкой в чайную лавку на углу Коламбус-авеню и 99-й улицы. Уходила до рассвета и трудилась по двенадцать часов в сутки семь дней в неделю без выходных. Владелец говорил матери, что ей стоит радоваться работе, — обычно в заведение «испанских» девушек не брали. Знал бы он, что Линда — Черная, он бы ее вовсе не нанял. Зимой 1928 года у матери начался плеврит, и она чуть не умерла. Пока мать еще болела, отец пошел в чайную лавку за ее униформой, чтобы постирать. Увидев его, владелец понял, что моя мать Черная, и тотчас же ее уволил.

В октябре 1929 года родился их первый ребенок и обрушился фондовый рынок. Мечта родителей о возвращении домой ушла на задний план. Крошечные искорки этой мечты тлели на

протяжении долгих лет, пока мать выискивала тропические фрукты «под мостом» и жгла керосиновые лампы. Искорки эти раздувала ее ножная швейная машинка, ее жареные бананы и любовь к рыбе и морю. Западня. Как мало мать знала о стране незнакомцев на самом деле. Как работает электричество. Где ближайшая церковь. Где и когда получить подачку с молочной кухни — хотя нам не разрешали пить эту «милостыню».

Она знала, что надо кутаться от свирепого холода. Знала о «Райских сливках» — твердых овальных конфетках, вишнево-красных с одной стороны, ананасно-желтых с другой. Она знала, какие вест-индийские лавки на Ленокс-авеню держат их на прилавках, в стеклянных банках с откидной крышкой. Знала, как желанны «Райские сливки» для истосковавшихся по сладостям маленьких детей и как важно сохранять дисциплину во время долгих походов за покупками. Она точно знала, сколько именно импортных конфеток можно обсосать, перекатывая во рту, пока нехорошая аравийская камедь да ее кислотные британские зубки не рассекут розовую шкурку языка, вызывая мелкие красные прыщики.

Она знала, какие масла смешивать от ссадин и сыпи, как избавляться от обрезков ногтей и волос с гребня. Как жечь свечи на День всех усопших, отпугивая сукоянтов, чтобы те не пили кровь у ее малюток. Она знала, как благословлять пищу и какие молитвы читать перед сном.

Она научила нас молиться Богоматери — в школе об этом не рассказывали.

Вспомни, о всемилостивая Дева Мария, что испокон веков никто не слышал о том, чтобы кто-либо из прибегающих к тебе, просящих о твоей помощи, ищущих твоего заступничества, был тобою оставлен. Исполненная такого упования, прихожу к тебе, Дева и Матерь Всевышнего, со смирением и сокрушением о своих грехах. Не презри моих слов, о Матерь предвечного слова, и благосклонно внемли моей просьбе.

Помню, ребенком я часто слышала, как мать произносила эти слова мягко, еле дыша, когда случались кризис или катастрофа: ломалась дверца холодильного шкафа; выключали электричество; сестра рассекала себе губу, гоняя на одолженных коньках.

Эти слова слышали мои детские уши, и я раздумывала о таинстве той Богоматери, к которой моя стойкая строгая мать шепотом обращала столь прекрасный зов.

И, наконец, моя мать знала, как запугать детей так, чтобы они пристойно вели себя на людях. Она знала, как притвориться, будто еда, что осталась дома, — самая желанная, тщательно подготовленная.

Она знала, как создать добродетель из необходимости.

Линда скучала по тому, как бьется прибой о волнорез у подножья холма Ноэля, горбатого и загадочного склона острова Маркиз, возвышающегося над водой в полумиле от берега. Она скучала по быстрому лёту банановых певунов, и по деревьям, и по резкому запаху древесных папоротников, обрамляющих дорогу под горку в городок Гренвилл. Она скучала по музыке, которую нарочно слушать не приходилось, потому что та вечно была вокруг. И больше всего она скучала по воскресным прогулкам на лодке, что везла ее к тетушке Энни на Карриаку.

В Гренаде у каждого есть песня на любой случай. Была своя песня в табачной лавке, отделе универмага, где Линда заправляла с семнадцати лет.

Три четверти крестика

И замкнутый круг,

Два полукруга и перпендикуляр встречаются вдруг.

Припев помогал узнать магазин тем, кто не мог прочесть название «ТАБАК».

Песни водились повсюду, была даже одна о них, о девицах Бельмар, что вечно задирали нос. И никогда нельзя было

говорить о делах на улице слишком громко, а то на следующий день услышишь, как твое имя склоняют в песне на углу. Дома она научилась от сестры Лу осуждать сочинение бесконечных песенок как постыдную, простецкую привычку, недостойную приличной девушки.

Но теперь в этой холодной, пронзительной стране под названием «америка» Линда скучала по музыке. Она скучала даже по раздражению, которое вызывали посетители ранним субботним утром своей беспечной болтовней и нечеткими ритмами, пока щебетали по пути из ромовой лавки домой.

Она многое знала про еду. Но к чему это всё сумасшедшим, среди которых она очутилась, если те готовили баранью ногу, даже не обмыв, и жарили самую жесткую говядину без воды и крышки? Тыква для них была лишь ребячьей забавой, а к мужьям они относились лучше, чем к собственным детям.

Она не знала назубок галерей Музея естественной истории, но ей было известно, что туда стоит отвести детей, если хочешь, чтобы те выросли умными. Оказавшись там с ними, она пугалась и щипала каждую из нас, девочек, за мясистую часть предплечья — раз за разом целый день. Считалось, что это из-за нашего плохого поведения, но на самом деле — потому что под аккуратным козырьком музейного работника она видела бледно-голубые глаза, уставившиеся на нее и на ее детей, как будто бы мы плохо пахли, и от этого делалось страшно. *Такое* не проконтролируешь.

Что еще знала Линда? Она знала, что можно заглянуть людям в лицо и понять, что они будут делать, задолго до того, как действие совершено. Она знала, каков грейпфрут внутри — желтый или розовый, — до того, как он успевал созреть, и что делать с остальными — бросить их свиньям. Но в Гарлеме свиней не было, а грейпфруты порой попадались только такие — годные для свиней. Она знала, как предотвратить воспаление в открытой ране или порезе, разогрев лист черного вяза над костром, пока тот не пожухнет в руке, и втерев сок в порез, а потом обернув рану обмякшими зелеными волокнами, словно бинтом.

Но в Гарлеме не росли черные вязы, в Нью-Йорке не найти было листьев черного дуба. Ма-Марайя, ее бабушка-корневщица, хорошо ее обучила под сенью деревьев на холме Ноэля в Гренвилле, Гренада, с видом на море. Передали свои знания и тетушка Анни, и Ма-Лиз — мать Линды. Но теперь в знаниях этих нужды не было, да и муж ее, Байрон, не любил говорить о доме: его это расстраивало и подрывало решимость построить свое царство в новом мире.

Она не знала, верить ли рассказам о белых работорговцах, что читала в «Дейли Ньюз», но знала, что детей своих лучше в конфетные лавки не пускать. Нам даже не разрешали покупать грошовые шарики жвачки в автоматах метро. Мало того, что это трата бесценных денег, так еще и автоматы эти были игровыми, то есть истинным злом, ну или по крайней мере подозревались в связи с белым рабством — *самым* жестоким, говорила она угрожающе.

Линда знала, что зелень бесценна, а свойства воды спокойны и целительны. Иногда в субботу после обеда, после того, как мать заканчивала уборку в доме, мы отправлялись на поиски парка, чтобы сидеть там и разглядывать деревья. Иногда мы доходили до берега реки Гарлем на 142-й улице и смотрели на воду. Иногда садились на поезд линии D и ехали на море. Когда мы оказывались близко к воде, мать сразу становилась тише, мягче, растерянной. Потом она рассказывала нам прекрасные истории про холм Ноэля с видом на Карибское море в Гренвилле, в Гренаде. Она рассказывала нам о Карриаку, где родилась, окутанная густым запахом лаймов. Рассказывала о растениях, что целили, и о растениях, что сводили с ума, и всё это казалось нам, детям, бессмыслицей, потому что мы их ни разу не видели. Еще она рассказывала нам о деревьях, и фруктах, и цветах, что росли за дверью того дома, где она выросла и жила, пока не вышла замуж.

Дом для меня был далек, незнаком, я там никогда не бывала, но хорошо его знала по рассказам, что исходили из уст матери. Она дышала, источала, напевала фруктовый запах холма Ноэля: свежий утром, жаркий в полдень, и я сплетала видения

саподиллы и манго в сетчатый полог над своей раскладушкой в гарлемском многоквартирном доме среди храпящей тьмы, пропахшей потом ночных кошмаров. И сразу становилось терпимо, хотя на деле — вовсе нет. Здесь, наконец, было пространство, временное пристанище, которое не примешь за вечное, — ни за связующее, ни за определяющее, сколько бы энергии и внимания оно ни требовало. Потому что, если жить безупречно и рачительно и смотреть в одну-другую сторону, переходя дорогу, — тогда однажды попадешь в вожделенное место, вернешься *домой*.

Мы гуляли по холмам Гренвилла в Гренаде и, когда дул правильный ветер, чуяли запах лаймовых деревьев Карриаку, острова специй неподалеку. Слушали барабанную дробь волн на Кик-эм-Дженни — рифе, чей громкий голос пронзал ночь, когда морские волны лупили его по бокам. Карриаку, откуда близнецы Бельмар отправились на шхунах, что снуют меж островами, в вояж, который привел их первым и последним делом в городок Гренвилл, — и там они женились на сестрах Ноэль, девушках с материка.

Девушки Ноэль. Старшая сестра Ма-Лиз, Энни, отправилась за своим Бельмаром обратно в Карриаку, прибыла невесткой и обосновалась там, стала самостоятельной женщиной. Вспоминала о корнях, о том, чему научила ее мать, Ма-Марайя. Иных сил набралась у женщин Карриаку. И в доме в холмах за Л'Эстерр помогла появиться на свет семи дочерям сестры своей Ма-Лиз. Моя мать Линда родилась в ожидающие ее, любящие ладони.

Здесь тетушка Энни жила среди других женщин, что провожали своих мужей на парусных лодках, потом заботились о козах и об арахисе, сажали зерновые и лили ром в землю, чтоб кукуруза росла крепче, строили свои женские дома и рыли канавы для дождевой воды, собирали лаймы, сплетали свои жизни и жизни своих детей воедино. Женщины, которые переживали отсутствие мужей-мореходов с легкостью, принимаясь любить друг друга и любя и после их возвращения.

Мадивин. Дружевание. Зами. О том, как женщины Карриаку любят друг друга, в Гренаде ходили легенды — как и об их силе, как об их красоте.

В холмах Карриаку, меж Л'Эстерр и Харви-Вэйл родилась моя мать, женщина Бельмар. Лето проводила у тетушки Энни, собирала с женщинами лаймы. И так же мечтала о Карриаку в детстве, как я когда-то о Гренаде.

Карриаку, имя волшебное, как корица, мускатный орех, мускатный цвет, аппетитные кусочки гуавового джема (каждый с любовью укутан в крошечный лоскут вощенной бумаги, специально вырезанной из хлебной обертки), длинные стручки сушеной ванили и сладко пахнущие бобы тонка, мучнистые коричневые самородки прессованного шоколада для какао--чая — всё это на подложке из лавровых листьев прибывало каждое Рождество в хорошенько упакованной жестяной чайной банке.

Карриаку — его не обнаружить ни в школьном атласе Гуда, ни в «Мировой газете Джуниор Американа», ни на любой попадавшейся мне карте. И вот, охотясь за этим волшебным местом на уроках географии или в свободное время в библиотеке, я никогда его не находила и убеждалась, что география моей мамы — фантазия, или безумие, или просто название устарело, а на самом деле она, возможно, говорит о месте, которое именуют Кюрасао, — голландском владении на другой стороне Антильских островов.

Но подспудно, пока я росла, дом всё еще оставался манким местом где-то там, которое пока не успели нанести на бумагу, обуздать и подшить в страницы учебника. Это был наш личный, мой собственный рай с кустовыми бананами и плодами, свисавшими с хлебного дерева, с мускатным орехом, и лаймом, и саподиллой, бобами тонка и красно-желтыми «Райскими сливками»¹.

Я часто думаю: отчего радикальная позиция всегда кажется мне самой верной; почему крайности, которых держаться тяжело, а то и мучительно, всегда привлекательнее, чем единый план, следующий четкой срединной линией?

Что мне действительно близко, так это особенный вид решимости. Упрямой, болезненной, приводящей в ярость, но эффективной.

Моя мать была очень могущественной женщиной. И это в те времена, когда сочетание слов «женщина» и «могущественная» в белом американском общеупотребительном лексиконе было почти невозможным, если только не сопровождалось каким-нибудь всё объяснявшим прилагательным-отклонением — типа «слепая», «горбатая», «сумасшедшая» или «Черная». Поэтому, когда я росла, под могущественной женщиной подразумевалось что-то совсем иное, чем под обычной женщиной, просто «женщиной». С другой стороны, не подразумевалось и «мужчины». Что же тогда? Был ли третий вариант?

В детстве я всегда знала, что моя мать отличается от других знакомых мне женщин, Черных или белых. Я думала, это потому, что она моя мать. Но чем она отличалась? Непонятно. Вокруг были и другие карибские женщины, в нашем районе и в церкви — полным-полно. Встречались среди них и такие же светлокожие, как она, особенно среди тех, кто с «низких островов». Красная кость, так их называли. *Но чем отличалась она?* Я так и не узнала. Поэтому я до сего дня верю, что меня всегда окружали Черные дайки — то есть могущественные и ориентированные на женщин женщины, — которые бы скорей умерли, чем так себя называли. И одна из них — моя мама.

Я всегда думала, что впервые научилась обращаться с женщинами у папы. Но он явно относился к матери совсем по-другому. Они наравне принимали решения и устанавливали правила как

на работе, так и в семье. Каждый раз, когда нужно было обдумать что-то, касающееся нас, их троих детей, хотя бы покупку новых пальто, они уходили в спальню и там какое-то время на пару ломали голову. «Бз-з, бз-з», — доносилось из-за закрытой двери иногда на английском, а иногда — на патуа, том гренадском полиязыке, который они избрали своим лингва франка. Потом они вместе выходили и объявляли о принятом решении. Всё мое детство они говорили единым голосом, неразделимым и неоспоримым.

Когда родились дети, отец получил образование в сфере недвижимости и стал управлять меблированными комнатами в Гарлеме. Возвращаясь с работы по вечерам, тотчас после приветствия, он всегда быстренько выпивал в кухне стаканчик бренди — стоя, прямо в шляпе и пальто. Потом они с мамой сразу же удалялись в спальню, и мы слышали, как они обсуждали события дня за закрытыми дверьми, даже если и виделись в их общем офисе всего за несколько часов до того.

Если кто-то из нас, детей, нарушал какое-либо правило, мы не на шутку тряслись в своих ортопедических ботинках, зная, что за этими дверьми решается наша судьба и выбирается наказание. Когда двери открывались, выносилось обоюдное и неопровержимое суждение. Если же надо было поговорить о чём-то важном при нас, мамочка и папочка переходили на патуа.

Родители в равной мере отвечали за правила и решения, поэтому, на мой детский взгляд, вероятно, мать была не женщиной — чем-то отличным. Повторюсь: мужчиной она точно не была. (Мы, дети, не потерпели бы отсутствия женскости так долго; наверное, запаковали бы свои *кра* и отправились восвояси до восьмого дня — эта возможность есть у всех африканских детских душ, которые попали не в свою среду.)

Мать отличалась от других женщин, и иногда это наполняло меня удовольствием и давало ощущение уникальности, приятной обособленности от других. Но иногда это причиняло и боль, и я думала: вот она — причина моих детских бед. *Если бы*

мать была как все прочие матери, она бы любила меня сильнее. Но чаще ее отличие было как времена года или холодные деньки и парные июньские ночи. Просто было, без объяснений, без какой-либо на него реакции.

Мать и обе ее сестры были крупными и грациозными, их обширные тела словно подчеркивали решительность, с которой они передвигались по своим жизням в странном мире Гарлема и америки². По-моему, этим мама и отличалась от других: внушительностью, осанкой и выдержкой, с которой она себя несла. Ее внешний вид женщины, которая за себя отвечает и весьма сведуща, был скромн и убедителен. Люди на улице считались с нею в вопросах вкуса, экономики, точек зрения, качества чего-либо, не говоря уже о том, кому занять освободившееся сиденье в автобусе. Однажды я видела, как голубовато-серо-карие глаза матери остановились на мужчине, который пробирался к пустому месту в автобусе, ходившем по Ленокс-авеню, и тот на полпути запнулся, застенчиво усмехнулся и, будто продолжая движение, предложил сесть пожилой женщине, что стояла в проходе напротив него. Я довольно рано стала понимать, что иногда люди начинали вести себя иначе из-за ее мнения, которое мать порой даже не высказывала или вообще не осознавала.

Она была женщиной очень скрытной и весьма застенчивой, но довольно импозантной и деловой внешне. Полногрудая, гордая, нехилого размера, она пускала себя по улице, как корабль на всех парусах, и обычно тянула меня, спотыкающуюся, за собой. Немногие смельчаки решались подойти к этому кораблю поближе.

Совершенно незнакомые люди оборачивались к ней в мясной лавке и спрашивали, что она думает о свежести этого куска, нравится ли он ей, годится ли на то или иное блюдо, а нетерпеливый мясник ждал, пока она вынесет суждение, явно раздражаясь, конечно, но всё же сохраняя почтительность. Незнакомцы рассчитывали на мою мать, и я никогда не понимала почему, но в детстве мне казалось, что у нее

гораздо больше силы, чем было на самом деле. Матери нравился этот ее имидж, и, как я сейчас понимаю, она изо всех сил старалась скрыть от нас, детей, проявления беспомощности. В двадцатых–тридцатых Черной иностранке в городе Нью-Йорк приходилось непросто, особенно когда она сама достаточно светлая, чтобы сойти за белую, а вот ее дети — нет.

В 1936–1938 годах 125-я улица между Ленокс и Восьмой авеню, ставшая потом шопинг-меккой Черного Гарлема, была расово-смешанной, но управляли магазинами и распоряжались клиентурой только белые. В иных местах Черных посетителей не привечали, а Черных продавцов не имелось вовсе. Там же, где наши деньги всё же принимали, делали это неохотно и часто драли втридорога. (Именно с этими обстоятельствами боролся молодой Адам Клейтон Пауэлл-младший, устроив пикет и бойкотируя магазины Блумштейна и Вайсбеккера, после чего на 125-й стали давать работу и Черным.) Напряженность на улице была высокой, как обычно случается в расово-смешанных зонах в период изменений. Я помню, как совсем маленькой ежилась от одного особенного звука, хрипло-резкого грудного скрежета, потому что чаще всего это значило, что секунду спустя у меня на ботинке или пальто окажется гадкий шарик серой мокроты. Мать стирала ее маленькими кусочками газеты, которые всегда носила в сумке. Иногда она ворчала — вот, мол, люди низшего класса, ни ума, ни манер у них не хватает, чтобы не плевать против ветра, где бы они ни оказались, — и внушала мне, что унижение было лишь случайностью. Мне и в голову не приходило усомниться в ее словах.

И лишь много лет спустя я однажды спросила ее в разговоре: «Ты заметила, что люди стали как-то реже плевать против ветра?» И выражение лица матери показало мне, что я случайно ткнула в одну из потаенных болевых точек, о которых никогда нельзя упоминать. Как это типично для моей матери, особенно в моем раннем детстве: если она не могла удержать белых, которые плевали в ее детей лишь потому, что те Черные, значит, надо было настаивать, что дело не в цвете кожи, а в чём-то

другом. Это был ее любимый подход — изменение реальности. А если не можешь изменить реальность, то измени свое восприятие.

Родители заставляли нас верить в то, что по большей части мир у них в кармане, и если мы втроем будем себя правильно вести — то есть много работать и слушаться, — то и у нас в кармане он будет тоже. Это сильно сбивало с толку, особенно учитывая замкнутость нашей семьи. Всё, что в нашей жизни шло не так, было искренним выбором родителей. Всё, что шло так, тоже происходило из-за них. Любые сомнения в реальности ситуации безотлагательно и спешно подавлялись, как крошечные, но несносные мятежи против святого авторитета.

Люди во всех наших книжках с картинками совсем не походили на нас. Белые и светловолосые, они жили в домах, окруженных деревьями, и у них были собаки по кличке Спот. Я таких людей лично не знала, и они казались столь же реальными, как Золушка, живущая в замке. О нас историй никто не писал, но люди в толпе всё равно спрашивали мою маму, как им куда-нибудь добраться.

И из-за этого я в детстве решила, что мы, должно быть, богачи, хотя у матери не было денег даже на перчатки для обмороженных рук или на настоящее зимнее пальто. Она достирывала белье и быстро одевала меня на зимнюю прогулку — заодно мы забирали сестер из школы на обед. Пока добирались до школы Святого Марка, в семи кварталах от дома, мамины прекрасные длинные руки покрывались жуткими красными пятнами и цыпками. Потом, помню, она осторожно потирала их под холодной водой и заламывала от боли. Но если я спрашивала ее об этом, отмахивалась: мол, так у них, «дома», было принято избавляться от цыпок; и когда она говорила, что просто ненавидит носить перчатки, я тоже ей верила.

Отец приходил с работы или с политсобрания поздно вечером. После ужина мы, девочки, втроем делали уроки, усевшись вокруг стола. Потом сестры по коридору уходили спать к себе. Для меня мать ставила раскладушку в передней спальне и следила, чтоб я приготовилась ко сну.

Она гасила электричество по всему дому, и из своей кровати я видела, как она сидит в двух комнатах от меня за тем же кухонным столом, читает «Дейли Ньюз» при свете керосиновой лампы и ждет отца. Она всегда говорила, что керосиновая лампа напоминает ей о «доме». Уже взрослой я поняла, что она пыталась сэкономить несколько пенни на электричестве, пока отец не приходил и не включал свет со словами: «Лин, ты чего в темноте сидишь?» Иногда я засыпала под мягкий *чанк-а-та-чинк* ее ножной швейной машинки «Зингер», пока она прострачивала простыни и наволочки из небеленой парусины, купленной на распродаже «под мостом».

В детстве я видела маму плачущей лишь дважды.

Первый раз — когда мне было три года и я мостилась на приступке стоматологического кресла в городской стоматологии на 23-й улице, пока студент-дантист вырывал ей с одной стороны все верхние зубы. Дело было в огромном кабинете, полном кресел, в которых точно так же стонали другие люди, а юноши в белых халатах склонялись над их разинутыми ртами. Многочисленные бормашины и инструменты грохотали так, будто на углу шли земляные работы.

Потом мама сидела на улице на длинной деревянной скамейке. Я смотрела, как она откинулась назад с закрытыми глазами. На мои попытки похлопать ее или подергать за пальто она не отвечала. Вскарabкавшись на сиденье, я заглянула маме в лицо, чтобы понять, почему она спит посреди дня. Из-под закрытых век сочились капельки слез и бежали по щеке к уху. Я тронула влагу на высокой скуле в ужасе и восхищении. Мир переворачивался. Моя мать плакала.

Другой раз случился через несколько лет: я увидела, как мать плачет, как-то ночью, когда меня уложили у родителей в спальне. Дверь в гостиную была нараспашку, и я смотрела через щелку в другую комнату. Проснулась от того, что родители разговаривали по-английски. Отец только что вернулся и дышал спиртным.

— Я надеялась не дожить до того дня, когда ты, Би, окажешься в кабаке и будешь там наливаться с гулящей женщиной.

— Ну Лин, о чём ты? Всё ж совсем не так, сама знаешь. В политике надо со всеми дружить-дружить. Нет тут ничего такого страшного.

— Если уйдешь раньше моего, я никогда на другого мужчину даже не посмотрю и от тебя того же ожидаю, — из-за слез голос матери звучал странно глухо.

Это были годы накануне Второй мировой войны, когда депрессия подкосила всех, а особенно Черных.

Хотя нас, детей, могли поколотить за монетку, потерянную по пути домой из магазина, матери нравилось воображать себя щедрой дамой — спустя годы она с горечью осуждала меня за то же самое, случись мне что-нибудь подарить подруге. Но одно из моих самых ранних воспоминаний о Второй мировой — незадолго до ее начала, когда мать делила фунтовую банку кофе между двумя старыми друзьями семьи, случайно зашедшими в гости.

Хотя она всегда утверждала, что ей не до политики и государственных дел, откуда-то мать моя почуяла ветры войны и, несмотря на нашу нищету, принялась набивать секретный шкафчик под кухонной раковиной сахаром и кофе. Я помню, как еще задолго до Пёрл-Харбора, открывая очередной пятифунтовый мешок сахара, купленный на рынке, мы отсыпали треть в начищенную жестянку, чтобы держать ее под раковиной, куда не доберутся мыши. То же происходило с кофе. Мы покупали кофе «Бокар» в магазине A&P, где его мололи и распределяли по пакетикам. Дома мы делили этот пакет: часть — в кофейную банку у плиты, часть — в жестянку под раковиной. Дома нас мало кто навещал, но в войну, когда кофе и сахар выдавали строго по талонам, все гости уходили от нас со стаканом того или другого.

Запастись мясом и маслом было невозможно, и в начале войны из-за решительного отказа матери от заменителей сливочного масла (только «другие люди» использовали

маргарин — те же «другие люди», что давали детям бутерброды с арахисовым маслом на обед, мазали сэндвичи спредом вместо майонеза и ели свиные отбивные и арбузы) нам приходилось выстаивать очереди по всему городу каждым промозглым субботним утром, чтобы успеть к открытию магазина и получить причитающуюся нам четверть фунта масла, не предусмотренного продпайком. Во время войны мать постоянно держала в голове список всех супермаркетов, до которых можно было доехать на автобусе без пересадки, и часто брала меня с собой, потому что я могла ездить бесплатно. Она также подмечала, где люди подружелюбней, а где нет, и после войны мы еще много лет избегали некоторых мясных лавок и магазинов, потому что кто-то когда-то ущемил там мать при добыче какого-то бесценного дефицита, а она никогда ничего не забывала и прощала редко.

В пять лет я, с моими серьезными и официально признанными проблемами со зрением, пошла в класс для слабовидящих детей в местной общеобразовательной школе на углу 135-й улицы и Ленокс-авеню. На углу стояла голубая деревянная будка, где белые женщины раздавали бесплатное молоко Черным матерям с детьми. Я жаждала отведать хоть каплю молока с «Бесплатной молочной кухни Хёрст» в этих хорошеньких маленьких бутылочках с красными и белыми крышками, но мать никогда не разрешала его пить, потому что это милостыня — а она плоха и унизительна, к тому же молоко теплое, и от него может затошнить.

Моя школа стояла через авеню от школы католической, куда ходили мои старшие сестры, и общеобразовательной их пугали всю мою жизнь. Если не станут слушаться и получать хорошие отметки за учебу и поведение, могут и «перевести». «Перевести» звучало почти так же страшно, как спустя десятки лет — «депортировать».

Конечно, все знали, что в общеобразовательной дети только и умеют, что «драться», и каждый день после уроков можно «получить» вместо того, чтобы, как в католической, шествовать из дверей двумя аккуратными рядами к углу, где ждали мамы, — шагать, словно маленькие роботы, тихие, но защищенные, небитые.

Увы, в католической школе не было нулевки, особенно для детей со слабым зрением.

Несмотря на мою близорукость, а может, из-за нее, я научилась читать тогда же, когда и говорить, то есть где-то за год до школы. Хотя, пожалуй, словом «научилась» вряд ли можно описать то, как я начала говорить, — до сих пор не могу с уверенностью утверждать, почему молчала до этого: потому что не умела или потому что не могла сказать ничего такого, что было позволено произнести без риска схлопотать. В вест-

индских семьях довольно рано осознают необходимость самосохранения.

Я научилась читать у миссис Августы Бейкер, детской библиотекарши из старой библиотеки на 135-й улице — недавно здание снесли, чтобы построить новое и разместить там коллекцию Шомбурга с материалами по афроамериканской истории и культуре³. Единственное доброе дело, что совершила эта дама, земля ей пухом, за всю свою жизнь. И это ее деяние не раз спасало меня — коль не тогда, так после, в моменты, когда умение читать было единственным, за что я могла держаться, и только так и выстаивала.

Одним ясным днем мать зажимала мое ухо, чуть не отрывая, а я лежала, раскинувшись на полу детской комнаты, словно яростная коричневая жабка, орала как резаная и позорила мать до смерти. Знаю, что было это либо весной, либо ранней осенью — как сейчас ощущаю жалящее нытье в верхней части руки, не защищенной теплым пальто. В попытке меня заткнуть мамины пальцы уже успели обработать эту самую руку. Чтобы избежать ее безжалостных пальцев, я брякнулась на пол и ревела от боли, а они подбирались снова, на этот раз к ушам. Мы ждали двух моих старших сестер, чтобы забрать их с часа сказки, который проходил на другом этаже тихой, пахнущей чем-то сухим библиотеки. Мои вопли пронзали ее почтенную тишину.

Внезапно я посмотрела вверх — надо мной стояла библиотекарша. Мамины руки повисли по бокам. С пола, где я лежала, казалось, что миссис Бейкер — всего-навсего еще одна гигантская женщина, что сейчас задаст мне жару. У нее были огромные, светлые, с тяжелыми веками глаза и очень тихий голос — и говорила она, не проклиная меня за учиненный шум, а просто так:

— Хочешь услышать сказку, девочка?

Мое бешенство отчасти было вызвано тем, что меня как слишком маленькую не пускали на тайный праздник жизни под названием «час сказки», а тут вдруг странная дама предлагает

мне мою собственную историю.

Я не смела даже глянуть на мать, побаиваясь, что она скажет: мол, нет, ты не заслужила сказок. Всё еще потрясенная внезапной сменой событий, я забралась на табурет, который миссис Бейкер мне подставила, и подарила ей всё свое внимание. Этот опыт оказался для меня новым, любопытства моего было не утолить.

Миссис Бейкер читала мне «Мадлен» и «Хортон высиживает яйцо», обе книги — в стихах и с прекрасными огромными картинками, которые я разглядывала сквозь новенькие очки, что держались на моей непокорной голове — от дужки к дужке — на черной резинке. Потом последовала история про медведя по имени Герберт, который съел целое семейство людей, одного за другим, начиная с родителей. К ее окончанию я уже была предана чтению фанатически — на всю оставшуюся жизнь.

Когда миссис Бейкер закончила читать, я взяла книгу из ее рук и провела пальцем по крупным черным буквам, снова рассматривая красивые яркие картинки. Именно тогда я решила, что обязательно научусь делать так сама. Я показала на черные отметины, которые, как я смекнула, были отдельными буквами — не такими, как в более взрослых книжках сестер, где мелкий шрифт сливался на странице в серое пятно, — и заявила, обращаясь ко всем, кто был готов меня услышать:

— Я хочу читать.

Мать удивилась, но испытала облегчение, и оно пересилило ее раздражение от моих «щенячьих выходок». Пока миссис Бейкер читала, мать держалась на заднем плане, но потом рванула вперед, умиrotворенная и впечатленная. Я заговорила! Она сняла меня с низкой табуретки и, к моему удивлению, поцеловала прямо на глазах у всех, кто был в библиотеке, включая миссис Бейкер.

Выражать привязанность на людях — беспрецедентно, совсем не в характере матери. Почему она так поступила, я так и не поняла, хотя ощущения были приятные и теплые. Наконец-

то я хоть что-то сделала правильно.

Мать усадила меня обратно на табурет и повернулась к миссис Бейкер:

— Нет предела чудесам, — она была так взбудоражена, что я забеспокоилась и вновь затаилась и примолкла.

Мало того, что я просидела на месте гораздо дольше, чем ей представлялось возможным, — я еще и вела себя тише мышки. А потом вместо того, чтобы орать, начала говорить, хотя после четырех лет бесконечных волнений она уже отчаялась услышать от меня хоть что-то толковое. Даже одно связное слово от меня считалось редким подарком. Врачи в поликлинике подрезали мне уздечку под языком, из-за чего я уже не считалась официально косноязычной, и убедили мать в том, что я не умственно отсталая, однако, несмотря на это, она всё еще сомневалась и боялась. Любая альтернатива немоте искренне ее радовала. О том, чтобы выкручивать уши, уже не было и речи. Мать взяла азбуку и книжки с картинками, предложенные миссис Бейкер, и мы отправились восвояси.

Я сидела за кухонным столом с матерью, обводя и называя буквы. Вскоре она научила меня проговаривать алфавит по порядку и задом наперед, как делали в Гренаде. Хотя сама она доучилась лишь до седьмого класса, в последний ее год в школе мистера Тейлора в Гренвилле ей поручили втолковывать первоклашкам азбуку. Она показывала, как писать мое имя печатными буквами, под истории о строгости мистера Тейлора.

Мне не нравилось, как в моем имени Одри — Audrey — у буквы «у» свисает хвостик, и я вечно о ней забывала, что очень беспокоило мать. В четыре года меня радовало ровное AUDRE LORDE, но я всегда добавляла «у», потому что мама это одобряла и потому что, как она мне объяснила, надо делать как полагается, а полагается — с хвостиком. Никаких отклонений от ее представлений о правильном и речи быть не могло.

Так что к тому времени, когда я, умытая, с косичками и в очках, прибыла в детский сад для слабовидящих, я уже могла читать книги с крупным шрифтом и писать свое имя обычным